

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ПЕРВАЯ РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ПЕТЕРБУРГЕ. 1905 г. Под ред. В. Зеликсон-Бобровской. 1925. (Ленинградский истпарт). Сборник 1-й. Статьи, воспоминания, материалы, документы. Стр. 170. Ц. 25 к. Сборник 2-й. По фабрикам и заводам. (Воспоминания участников и материалы архива департамента полиции). Стр. 147. Ц. 25 к.

1905 г. В ПЕТЕРБУРГЕ. 1925. (Ленинградский истпарт и комиссия по празднованию революции 1905 г.). Вып. I. Социал-демократические листовки. Собрал: С. К. Валк, Ф. Г. Матасова, К. К. Соколова и В. Н. Федорова. Вступ. статья К. Шелавина. Стр. 444. Ц. 1 р. Вып. II. Совет рабочих депутатов. Сборник материалов. Сост. Н. И. Сидоров. Стр. VIII + 436. Ц. 1 р.

КОКУШКИН, И. Две революции. Воспоминания участника. «Моск. рабочий». 1926. (МК РКП(б). Истпарт). Стр. 72. Ц. 65 к.

ПЯТЫЙ ГОД. Статьи. Воспоминания. Документы. «Моск. рабочий». Сборник первый под ред. С. Черномордика. 1925. (Труды Истпартодела МК РКП(б)). Стр. 281. Ц. 1 р. 50 к. Сборник второй. Под ред. М. Милотиной. 1926. (Моск. истпарт). Стр. 331. Ц. 1 р. 50 к.

ЧЕРНОМОРДИК, С. (П. ЛАРИОНОВ). Московское вооруженное восстание в декабре 1905 г. «Моск. рабочий». 1926. (Истпарт МК РКП(б)). Моск. губ. комиссия по организации празднования революции 1905 г.). Стр. 243 + 1 вкл. лист. Ц. 1 р.

АНТОНОВ-САРАТОВСКИЙ, В. П. Красный год. Из серии «Под стягом пролетарской борьбы». Часть I. Огрывки по памяти и документам. О событиях 1905 г. в Саратове и Саратовской губ. 1927. (Истпарт). Стр. 211. Ц. 1 р.

ПРОДАЖА ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ И КИОСКХ ГОСИЗДАТА

В. Ф. Г.

ЗА НЕВСКОЙ ЗАСТАВОЙ

Записки рабочего

АЛЕКСЕЯ БУЗИНОВА

С предисловием Б. ГОРЬВА

М. 47 1505

Г. П. БУЗИНОВ, 1905 г. 3. 01. 03.
Акт № 4. 574

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

МОСКВА

1930

ЛЕНИНГРАД



Обуховский завод, что-то судя, кажется, стал на работу после утраты морского министра закрыть его. Остальные заводы некоторое время прислушивались к Александровскому механическому заводу Николаевской железной дороги. Но он, хотя и был настроен очень революционно, медленно раскачивался на самые выступления. И вот, как в отдельном кружке, в комитете мастерской или завода всегда выделялся кто-нибудь один, так за Невской заставой выделялся вперед наш Семинниковский завод и стал поводом для остальных фабрик и заводов. Наш успех и решительность в борьбе окрыляли верою в собственные силы всех рабочих и заставили их прислушиваться к голосу семинниковцев. Таким образом Невский судостроительный и механический завод сделался политическим лидером всей Невской заставы. За ним тянулись все фабрики и заводы, но в ближайшие дни выровнялись с ним по сокращению рабочего дня только казенные: Обуховский сталелитейный и пушечный завод, Александровский механический и примыкающие к нему вагонные мастерские. Всем же прочим не хватало дерзания...

Со времени окончания занятий в нашем кружке я числился членом партии социалистов-революционеров, но все мои партийные обязанности сводились к уплате членского взноса по копейке с рубля и получению квитка с оттиском половинки партийной печати. Членские взносы собирал Новицкий, работавший в механической мастерской. Кроме него ни с кем из партийных товарищей я не соприкасался приблизительно до половины лета, когда в кузнице сформировался партийный кружок, от которого меня выбрали представителем в заводской комитет. На чем основывался этот выбор, я уже не помню, но тогда звание комитетчика меня очень радовало. В самом комитете пользы от меня не было никакой: я оказалась там наиболее бесцветным и малосмысленным членом. С этих пор мои обязанности сводились к сбору членских взносов с других и передаче денег вместе с членской книжкой комитетскому казначею Симановскому. Раз в неделю при докладе с мест мне приходилось

рассказывать в комитете о настроении и требованиях наших кузнецов и молотовойцев. Это не требовало больших способностей. В комитетский день я просто обходил все кучки рабочих или собирал их сам и спрашивал, что мне сказать в комитете? Из подобных докладов председатель делал сводку о всем нашем заводе для районного комитета.

Однако даже и такое участие в заводском комитете очень развивало меня. Каждое его заседание знакомило меня с какой-нибудь новой стороной жизни нашего завода и всего района. На этих же заседаниях я знакомилась и с деятельностью политических партий. Так, на первом заседании комитета в моем присутствии был доклад о том, что законченной перестройке нашей партийной организации, названной "Невским районом".

Организацию возглавлял районный комитет. Он руководил всей партийной работой, выполнявшейся тремя подрайонными комитетами, между которыми была разделена вся Невская застава. Самый низ организации составляли заводские и фабричные комитеты из выбранных от мастерских и цехов. Организацию построили по уставу, допущавшему только выборное начало. Этот устав действовал и точно выполнялся до отрыва революционной волны, когда снова возродилась кооптация.

Наш заводский комитет избрал в подрайонный комитет трех делегатов: упомянутого Новицкого, Бориса Игнатьева и чертежника Рыкова. Игнатьев вскоре прошел в районный комитет, и тогда его заменили кем-то другим.

Подрайонный комитет поручал нам составлять партийные кружки и распространять нежелательную литературу. Мы в свою очередь ставили ему задачей объединение всех заводов и фабрик. Выполнение этой задачи осуществлялось "в потемкинскую неделю", как тогда окрестили время, когда восставший броненосец "Князь Потемкин-Таврический" бушевал в Черном море. Тогда же состоялось соглашение между социал-демократами и социалистами-революционерами, работавшими за Невской заставой. Они совместно образовали внепартийный

66

рабочий комитет для согласования действий обеих партий и руководства рабочим движением.

В Рабочий комитет вошли представители подрайонных комитетов социалистов-революционеров и представители от социал-демократической организации, имевшей только районный комитет. Выборы производило межпартийное собрание, устроенное на Спасском кладбище. Это же собрание предоставило Рабочему комитету право решать все вопросы, касающиеся рабочего движения за Невской заставой, пока не будут выбраны делегаты непосредственно от фабрик и заводов.

Выборы в Рабочий комитет фабрично-заводских делегатов растяннулись надолго. Больше всего им мешала стужба коспирация, которой они обставлялись, что было мало понятно.

Время тогда стояло такое, что необходимость конспирации и потона за ней казались излишними. Конспираторские же ухищрения только устранили от выборов многих рабочих. Да и самые выборы проходили незанято. Их многостепенность подрывала живой интерес массы к Рабочему комитету. Существование его хотели сохранить втайне, но о нем все равно уже знали еще до его оформления. Рабочий комитет должен был руководить рабочим движением точно так, как партии руководили социалистическим движением. Первое было значительно шире и гораздо моложе последнего. Одно это обстоятельство требовало не прятать Рабочий комитет, а выдвигать его всеми способами наружу и соединить его с рабочей массой живой связью. В течение семи месяцев с начала года было проведено несколько собраний по заводам и фабрикам и много массовок в массах. На этих собраниях перед рабочими постоянно проносили словесные схватки не только между марксистами и народниками, но и между двумя группами¹ социал-демократов, успешных уже разделиться на большевиков и меньшевиков.

¹ Слово "фракция" вошло в рабочий словарь в широкий обиход за Невской заставой только в 1907 г. во время заседания 2 Государственной думы.

Общепартийным лозунгом рабочего движения в то время являлась всеобщая политическая забастовка. Партии энергично внедряли этот лозунг в сознание рабочей массы. В это время частичные забастовки стали обычным явлением. За Невской заставой не было такого завода или фабрики, которые с начала года бастовали меньше двух раз. Из всех этих забастовок я не помню ни одной, окончившейся поражением рабочих. Так оно, вероятно, было и на самом деле. Иначе трудно понять, почему среди нас забастовка считалась наилучшим оружием в борьбе. Следует также отметить, что эти частичные забастовки имели громадное значение в переломе психологии рабочих. В этих забастовках рабочие поняли свою роль и удельный вес, как массы, в экономической жизни страны.

— Прошли старые времена, — говорил не раз и не один рабочий, — теперь не мне хозяин нужен, а он подохнет без моих рук.

Другие подхватывали налету брошенную мысль:

— Что и говорить, мир на нашей работе держится, а киты утапливают пескарей глотать...

— Вестимо, галушки сами в рот валятся только в сказке...

Подобные разговоры слышались на каждом шагу, и в них всегда красочно проявлялось новое сознание рабочих. Теперь, если кому и было что-нибудь нужно дозреть, то он уже не бежал в контору мастера, но спрашивал себя, "что скажет рабочий класс," работающий с ним в одной бригаде. Это сознание и было той разрыхленной и хорошо подготовленной почвой, на которую так благоприятно ложился семя пропаганды и агитации за всеобщую политическую забастовку.

Наряду с лозунгом всеобщей забастовки раздавались и призывы к вооруженному восстанию. Но в этом вопросе между социалистами не существовало единодушия. О рабочих и говорить не приходилось — перед массой не было практического урока, а отвлеченные возможности восстания как будто оставались малопонятными. И несколько раз о всеобщей забастовке захватывала и увлекала всех

рабочих потововно, настолько проповедь вооруженного восстания вызвала лишь недоуменное поглядывание друг на друга. Вооруженное восстание рисовалось в глазах рабочих как настоящая война с ружьями и пушками. Но многие из рабочих не проходили военной службы и считали себя неспособными действовать оружием. Молодежь больше увлекалась возможностью вооруженного восстания, представляли его в образах, навеваемых революционной поэзией.

Когда партии заговорили об организации боевых дружин, то от охотников из молодежи не было отбоя. Ушел и я в боевую дружину.

Боевые дружины были построены по принципу десятков. Члены каждого такого десятка должны были хорошо знать друг друга, так, чтобы любой мог поручиться за всех остальных. Затруднений в этом отношении не встречалось. Мы подбирали себе товарищей, не считаясь с тем, что некоторые из них не проходили партийных кружков. После нам это стали в упрек и, пожалуй, вполне правильно, так как при таком приеме в партию попадали через боевую организацию люди совершенно незнакомые с программой и чуждые ей по своей психологии.

Вообще в то время каких-либо особых правил о принятии в партию не было. Точно так же и в комитетах не было никаких записей вступающих. Сверху никто не собирался тащить кого бы то ни было за волосы, а снизу все хорошо знали свои обязательства: сами несли членские взносы и получали квитки. Однако все это ничуть не мешало зародиться легенде о какой-то особой "записи", и, надо сказать, эта легенда создавала некоторый "ореол" записавшемуся в партию и поднимала его в глазах других на высшую ступень.

Боевая дружина представлялась нам как нечто величественное. Ни одному из нас она не казалась подобием нашего десятка.

Районный комитет прислал нам для практической стрельбы громадных размеров револьвер, называвшийся — если не изменяет память — Джон Траф. В его дуло

свободно входил указательный палец, сам же револьвер больше годился для употребления в качестве холодного, чем огнестрельного оружия. Мы выпустили из этого револьвера целую сотню патронов и ни одной пули не всадили ни в крут, ни даже в доску, на которой была накрашена цель. После этого районный инструктор напел, что дуло револьвера согнуто... Вероятно прежний владелец револьвера взламывал им замки или поднимал тяжести, как прочным и увесистым рычагом. Одного качества все же нельзя отрицать у этого "Джон Трафа": звук его выстрела прямо олушала стрелка и немногим уступал пушечному. С этим "оружием", пригодным заменить древне-русскую палицу, мы прожили с месяц, в продолжение которого нам только обещали большое количество настоящего оружия, ожидавшегося из-за границы. В конце лета у нас действительно появились браунинги, маузеры, один парабеллум, три солдатских винтовки и один винчестер.

Стрельбе, обращению с оружием и разборке его нас обучал инструктор. Боевая практика проходила раз в неделю — иногда в лесу за фабрикой Торнтон или за разрезом Славянка, но нередко и за станцией "Поповка", на которую мы ездили с дачным поездом Николаевской железной дороги. "Теорией" боевого дела занимались сперва два раза в неделю, а затем — три. Она сводилась просто к чистке револьвера и винтовки, сопровождавшейся тем, что инструктор объяснял особенности механизма.

Приблизительно в это же время у нас появилась напечатанная на пишущей машинке "Инструкция по изготовлению взрывчатых веществ и их употреблению, а также по минированию квартир для обороны от нашествия жандармов". Неделю в две мы выучили ее наизусть, а потом устроили собственную "лабораторию".

В наш десяток входили три ученика "химической школы", находившейся в Стекланном городке: Иосиф Мельдер — сын сторожа стеаринового завода, Николай Дмитриев — сын машиниста Обуховского завода, и Володя — сын модельщика Максима с нашего Семяниковского

39-18
39-15
50-15
1924

517-159 (список 1921 г. №26)

завода. Эта тройка прошла через революционное движение за Невской заставой с одной общей кличкой "химик", часто сбивавшей со следа охранку. Их работа началась с того, что они натаскивали из школы необходимых приборов—колбочек, склянок и фарфоровых ступок, а затем они же занимали в нашей лаборатории положение мастеров, как люди, знакомые по школе с химическими опытами.

Лабораторию основали в комнате Даниила Морозова, а днем, когда он уходил на завод, все припасы прятали в печь—топчанку. Десять в лаборатории на всех не хватало, и многие занимались отливкой и обработкой на заводе облоочек для бомб. Эта часть работы шла успешнее других: запасы облоочек скопились такие, что вызвали беспокойство у инструктора—он не представлял себе, куда их можно все употребить.

Изобретение "ученых химиков", во главе с инструктором, не спасло "лабораторию" от взрыва, разгоревшегося хранения пещи-печку. Несчастья с людьми в этот раз не случилось, но самый взрыв перепугал всех обитателей дома настолько, что они не могли успокоиться, пока не изгнали из квартир Морозова.

Об участниках нашего десанта мне придется упомянуть, когда речь коснется боевых дружин. К тому времени из нашей среды исчез только наш инструктор. Его звали "Николай Петрович" и реке просто "товарищ Николай". Как человек с определенным душевным складом, он совсем не подходил к нашему обществу. По его особенно изысканной деликатности, казалось бы, его место среди кисейных барышень. Не было бы ничего удивительного, если бы пришлось встретить его с букетом нежных цветов, но как-то странно казалось, что он занимается возней с оружием и заготовкой бомб. И за все время совместной работы он нисколько не огрубел, ни с кем не сдружился и как будто страдал среди нас. В общем разговоре он обычно не участвовал, а только посматривал на нас как-то тоскливо и краснея, словно молодой девушка, от самых заурядных, правды, порою грубоватых шуток. Над этой его особенностью мы сперва посмеивались и однажды даже хотели обратить его

"в русскую веру". Когда же мы присмотрелись к нему поближе, то увидели в нем прообраз будущего человека в социалистическом обществе. Между нами и им была слишком большая разница, не заметить которой мы не могли. Глядя на него, и у нас пробудилось желание подтянуться, стать лучше и изжить свои недостатки. Мы даже организовали кружок самовоспитания на предмет наживания коллективным способом наших недостатков. В этом кружке следили за собой и в особенности за своим языком. Вековые заповеди, вроде "мел, Емеля—твоя беда" или "язык—мясо без костей, сбренхет и не сомается", перестали служить оправданием.

По внешности нашему инструктору было лет двадцать пять. Его продолговатое лицо и горбатый нос, покрытые редкими оспинками, носили отпечаток чего-то старческого. Но светлые глаза были полны жизни и дышали еще непочатой молодостью. В партийном деле он был, очевидно, новичком и еще не успел привыкнуть к своей кличке, почему иногда и сам на нее не отзывался. Кто он был на самом деле, мы не знали. Однажды он принес с собой "в лабораторию" книгу по химии. В ней оказалось много мест, подчеркнутых карандашом, и заметок на полях. На эти места инструктор то-и-дело обращал наше внимание и требовал заучивать их. Отсюда мы и вывели заключение, что книга его собственная, что он—студент-политехник. На чистом листе книги были инициалы ее владельца, но они уже выветрились из памяти. От дальнейшего расследования мы воздержались, не желая смущать его и боясь, что он покинет нашу лабораторию. После я слышал, что он перешел из боевой организации в военную, работал среди офицеров в Питере и Севастополе, а затем долгие сидел в Петропавловской крепости и наконец его сослали в Якутскую область на поселение¹.

¹ По словам просматривавших эти рукописи Н. А. Мухина, бывшего в начале 1905 г. пропагандистом за Невской заставой, и В. Н. Францковского, участника офицерской организации, инструктором был Владимир Васильевич Буинов, умерший 26 сентября 1923 г. Буинова сослали в Якутку на 5 лет по делу партийной организации офицеров Костенко и др.

as: K18-30

1923-
1924-
1925-
1926-
1927-
1928-
1929-
1930-
1931-
1932-
1933-
1934-
1935-
1936-
1937-
1938-
1939-
1940-
1941-
1942-
1943-
1944-
1945-
1946-
1947-
1948-
1949-
1950-
1951-
1952-
1953-
1954-
1955-
1956-
1957-
1958-
1959-
1960-
1961-
1962-
1963-
1964-
1965-
1966-
1967-
1968-
1969-
1970-
1971-
1972-
1973-
1974-
1975-
1976-
1977-
1978-
1979-
1980-
1981-
1982-
1983-
1984-
1985-
1986-
1987-
1988-
1989-
1990-
1991-
1992-
1993-
1994-
1995-
1996-
1997-
1998-
1999-
2000-
2001-
2002-
2003-
2004-
2005-
2006-
2007-
2008-
2009-
2010-
2011-
2012-
2013-
2014-
2015-
2016-
2017-
2018-
2019-
2020-
2021-
2022-
2023-
2024-
2025-
2026-
2027-
2028-
2029-
2030-
2031-
2032-
2033-
2034-
2035-
2036-
2037-
2038-
2039-
2040-
2041-
2042-
2043-
2044-
2045-
2046-
2047-
2048-
2049-
2050-
2051-
2052-
2053-
2054-
2055-
2056-
2057-
2058-
2059-
2060-
2061-
2062-
2063-
2064-
2065-
2066-
2067-
2068-
2069-
2070-
2071-
2072-
2073-
2074-
2075-
2076-
2077-
2078-
2079-
2080-
2081-
2082-
2083-
2084-
2085-
2086-
2087-
2088-
2089-
2090-
2091-
2092-
2093-
2094-
2095-
2096-
2097-
2098-
2099-
2100-

Секрет ред. депутатов голосовал по мандатам, и мелкие предприятия взяли перевес. Резолюция Совета находила необходимые отказы от немедленного осуществления 8-часового рабочего дня. В резолюции еще было сказано, что где возможно рабочие могут продолжать борьбу за 8-часовой рабочий день. Но это было уже хуже, чем полный отказ, так как отдавало рабочих отдельных заводов во власть заводчиков. И вот у нас снова бурное собрание, на этот раз прямо в переулке на незастроенном пустыре. Кругом солдаты, казаки, на тумбе сидит генерал и около него целый штаб офицеров... Снова революционные речи рабочих и просьбы депутатов о накате по ликвидации локута. Рабочие признают, что началось отступление на одном из главных участков, и говорят: если Совет решил прекратить борьбу за 8-часовой рабочий день, то отступление надо сделать стройно и по всей линии, не входя ни в какие компромиссы с фабрикантами и заводчиками...

За Невской заставой было очень сильное движение за продолжение борьбы. Собрания были часты, приезжали ораторы от Совета и убеждали рабочих, что разницей между районами причинит больше вреда, чем отказ от 8-часового рабочего дня. Нам все время доказывали, что на первом месте должна стоять политическая борьба, что окончательно победа над самодержавием должна предшествовать введению восьмичасового рабочего дня. На этом настаивали — как говорили тогда рабочие. Но, особенно после ноябрьской забастовки, трудно было отделить самодержавие от капиталистов, и мы почти поголовно были уверены, что Совет сделал ошибку. Нам казалось, что наши враги чуточку удавливают колено Советов.

13 ноября из окон Александровского механического завода, выходящих на Шлиссельбургский проспект, было произведено несколько революционных выстрелов в казачий разъезд, при этом были убиты офицер, казак и одна лошадь. Кто стрелял — неизвестно, возможно, что это сделали черносотенцы по заданию правительства с целью ожесточить казаков против рабочих. Войск

за Невской заставой было от десяти до пятнадцати рот, не считая казаков и драгунов, и они вполне устроили бы нужное побоище, но им как будто чего-то не хватало — то ли решимости, то ли почина со стороны рабочих. Действительно, после стрельбы казаки ворвались на завод и многих рабочих тяжело избивали, из них четверо умерло.

Убитым рабочим устроили торжественные похороны, несмотря на то, что в ночь накануне их всю Невскую заставу заняли полки 24-й дивизии. Но войска немного опоздали, так как вследствие полицейской попытки выкрасть из покойничьей трупы рабочие заняли боковой двор и весь Муравьевский переулок ночью по сигналу из одного завода. Утром в похоронном шествии приняло участие все население заставы. Солдаты стояли шпалерами в два ряда по обеим сторонам проспекта версты на четыре. Между рядами сверкающих на солнце штыков десятки тысяч голосов мощно пели:

"Вы жертвою пали в борьбе роковой..."

Но день прошел благополучно, а ночью началось разоружение рабочих. Всю Невскую заставу разбили на небольшие участки. Их окружали сплошным кольцом солдаты. Внутри действовали жандармы, охранники и полицейские. Черносотенцы указывали подозрительные дома и квартиры. Они слышали, что за Невскую заставу революционеры привезли много солдатских винтовок и зарыли их в сохранившем месте. Кое-где пробовали сделать раскопки, но земля уже замерзла, и из попыток ничего не выходило. Все же повальный обыск обноружил много оружия, главным образом холодного, которое и увезли в город. Во время этого обыска жандармы захватили врасплох на Смоленском проспекте одну квартиру, в которой рабочие не успели спрятать ни бомб, ни оружия. Они оказали жандармам вооруженное сопротивление. Была перестрелка, бросали и бомбы. После первых потерь жандармы и городовые отступили, а затем дом стали обстреливать солдаты. В темноте двое рабочих убежали из квартиры, а двое или

трое, израсходовав к утру бомбы и патроны, покончили самоубийством.

Солдаты оставались за Невской заставой несколько дней. Их присутствие совершенно связало руки боевикам. Черносотенцы же в это время расположились вояско. Во главе их стали три брата Лавровых, Снесарев—рабочие Семениковского завода, и Никон—с Александровского. Все они были достаточно развиты в умственном отношении и являлись убежденными врагами революции¹.

Все пятеро упомянутых черносотенцев занимали в Невском отделе „Союза русских людей“ руководящее положение. Скоро они стали работать и как охранники. Без их участия не проходило ни одного обыска, ни одного ареста. Однако основной вред их состоял не в этом. Гораздо большее зло они причинили рабочим теми обысками, которые они производили самостоятельно и без полиции. В таких случаях черносотенцы забирали вместе с нежелательной литературой деньги, одежду и все имевшее какую-нибудь ценность. Под видом обыска на рабочих обрушивалось материальное разорение в самую трудную пору всеобщего обнищания, когда индустрия, приподнятая для заказа в лондон, часто оказывалась последним спасением семьи от голода.

¹ Из них только один Лавров дождя до Февральской революции. В апреле 1917 г. он „летановался“ и вновь появился за Невской заставой. Падение самодержавия унесло с собою возможность черносотенной организации в рабочей среде. Лавров остался один и тем не менее он не перекрасился, а начал агитировать за черную сотню. В те дни всеобщего угнетения молодой свободной рабочей отщепенкой поразительной терпимостью к чужим убеждениям. Агитация Лаврова не встречала препятствий, она, правда, не давала ему и ни одного приверженца. В начале лета, когда политическая атмосфера уже значительно накалась, рабочий Семениковского завода, социал-революционер Федоров застрелил Лаврова среди белого дня. Случайное, но знаменательное событие: Лавров был убит как раз против того места, где он сам, предсказав лет тому назад, убит Мухомов. Кровь черносотенца окрасила правый тротуар проспекта, а кровь социал-демократа — левый...

Наше молодое, только что подымавшееся на собственные, еще неокрепшие ноги, рабочее движение требовало прежде всего единства. В период общего подъема это принимали все. Поэтому участие некоторых рабочих в черносотенных организациях воспринималось очень болезненно. Хотелось верить, что у всех рабочих одна душа и одни думы, а наличие „союзников“ из нашей среды являлось живым и неприятным опровержением этой истины.

До появления активных черносотенцев перед нами было одно дело рабочего класса. И для нас в ту пору было важно его единство. Мы знали, что идущая нам, встрече интеллигенции понимает сущность и укажет нам, где можно оступиться в канаву. Единства рабочих не разбился бы и идеал формы черносотенных агитаторов, если бы она появилась со стороны, из города. Совсем другое дело свои рабочие, невоско-заставские. Их жизнь проходила на глазах у многих. Люди видели, что черносотенцы как-то умело устранив свою жизнь, что значок „Союза русского народа“ создает особое, привилегированное положение. Это не могло не действовать на слабых духом, не уверенных в успешности самостоятельной борьбы рабочего класса за свое освобождение. С другой стороны, что, пожалуй, важнее всего, на примере союзников стали учиться и наши рабочие. Если черной сотне, защищающей царя, все позволено, то почему я не могу позволить себе крайних средств в борьбе за рабочее дело? Вот приблизительно что думал недовольный массовик-рабочий. А в результате, при главе революционной волны, началось раздробление рабочего движения. Социалистические партии уже не те. Намечались группы недовольных партиями вообще. В январе 1906 г. у нас за Невской заставой появились „анархисты“, а дальше—больше: сперва максималисты, потом „махавцы“, а все в своей совокупности породили „групповодство“, о котором речь впереди. Это устремление к крайним левым, как мне кажется, было не продуктом проработки пережитого опыта, а лишь разложением массового рабочего движения.

С разоружением Невской заставы совпал призыв Советов рабочих депутатов и партий к подготовке вооруженного восстания. Необходимость его стала очевидна для всех. Все видели беспомощность мелких, частных выступлений, и оставалось готовиться к решительному бою.

Подготовить нас начал новый начальник боевых дружин „Григорий Петрович“. Он собирал боевые десетки на кружковые беседы „по истории и теории баррикадного боя“. В своих рассказах он знакомил нас с уличным борьбою, главным образом во времена Великой французской революции и Парижской коммуны; сам он изучил этот вопрос в бытность свою за границей. „Григорий Петрович“ перечислил все, из чего можно сделать баррикады, и добавил, что дисциплинированное войско больше всего расстраивается под неожиданными и частыми ударами неуловимого противника. Поэтому в уличных боях лучше всего действовать небольшими подвижными отрядами, примерно десятками. После такого вводного курса мы запаслись инструментом—топорами и поперевыми пилами, а затем под руководством того же „Григория Петровича“ составили подробный план уличной Невской заставы и части города, прилегающей к ней.

Вооруженное восстание было моей мечтой. В нем я надеялся принести какую-нибудь пользу и, если понадобится, сложить голову. Я был молод, меня переполняло жертвенное настроение, и мне часто хотелось, ради осуществления в будущем социалистического строя, идти теперь на любые муки.

События этих дней неуловимо толкали рабочих к вооруженному выступлению. В последних числах ноября арестовали председателя Совета рабочих депутатов Хрустаева-Носаря. Очень немногие из нас знали и видели его, но это не играло никакой роли, и мы от имени нашего завода потребовали объявления всеобщей забастовки, чтобы заставить власть немедленно освободить арестованного. На собрании по этому поводу рабочие указывали, что правительство проверило боевую подготовку рабочих разоружением Невской заставы, а те-

перь арестом председателя Совета проверяет их готовность и способность защищаться. Если,—говорили ораторы,—спустить без решительного выступления и этот маневр, то это означает, что мы сами ободреем правительству бросить на нас все свои силы. Особенно резко говорил слесарь Корнеев—молодой и развитой рабочий, выходец из семьи служащего. Он обещался на Совет за его увлечение жестами, бывшими на эффект, в то время как нужно было дать сигнал о начале боя. И Корнеев напорохочил ближайшие события. Через неделю арестовали весь Совет. Вместо выступления нам предложили выбрать новых депутатов и ждать решения нового Совета. Выбрали депутатов, но теперь Совет должен был собираться конспиративно. Собираясь Совет или нет—не знаю, но он точно в воду канул. О нем не стало ни слуху ни духу. Впрочем однажды кто-то из комитетчиков упомянул, что обязанности Совета по подготовке вооруженного восстания выполняет Исполнительный комитет. Но это было уже не то. Исполнительный комитет, может, и играл в Совете главную роль, но для рабочих он оставался в тени и казался только канцелярией.

Мы ожидали призыва к выступлению. Но приехал „Григорий Петрович“ с сообщением, что партийные комитеты считают невозможным вооруженное восстание в Питере. После кронштадтского восстания правительство тануло в столицу войска со всего округа. Прибывшие воинские части были надежны и легко могли разбить плохо и мало вооруженных рабочих. Отказ от вооруженного восстания возмутил всех боевиков, в том числе и меня. На другой день мы на своем общем собрании предъявили „Григорию Петровичу“ требование немедленно объявить вооруженное восстание. Но он предостерег нас от имени питерского комитета ехать добровольцами в Москву, где уже начинались бои. Охотников нашлось много.

Я уехал дни через два в группе восьми человек. До Москвы добрался благополучно. Девка у нас была в какую-то „Нормальную“ столовую на Никитской улице. Нужная особа встретила нас неприветливо, точно мы

И вот по фабрикам и заводам снова митинги, революционные речи и боевые резолюции протеста, рабочие требуют или освобождения арестованных депутатов или назначения суда над ними самими, и тысячами подписываются под резолюциями. Эти митинги возникают сами собой, проходят без участия партийной интеллигенции, которую, кстати сказать, они захватывали врасплох, и заканчиваются уличными демонстрациями с песнями и красными знаменами. Но суд отложили, и снова в районе падает настроение. Потом Думу разогнали. Через несколько дней в лесу читали „Выборское воззвание“, но народу собралось мало. Восстал Кроштанг, Свеаборг. Мы стали выбирать депутатов в новый—третий—Совет, но на выборы от Семинниковского завода пришло человек триста. На остальных заводах и фабриках число избирателей иногда опускалось до десятков. Внезапно нахлынувшая волна откатилась еще быстрее...

Городская управа организовала общественные работы. Нужно было в Галерной Гавани поднять улицы на сажень кверху, чтобы Невы, когда случалось наводнение, не заливала домов и хибарок. Кроме этого на Масляном булеваре, недалеко от Троицкого моста, открыли общественные мастерские. Организацию работ взяли в свои руки безработные, во главе которых стоял Совет под председательством социал-демократа Войтинского-Петрова. Совет установил восьмичасовой рабочий день с одинаковой для всех рублевой платой, без обеденных и сверхурочных.

Я пристроился на клепку мостовых пролетов. Все работали усердно, чтобы „открыть города“ не упрекнули в лодырстве. Однако этого избежать нам не удалось, хотя совсем не по нашей вине. В мастерских не хватало технического персонала, почему наш первый брань вышел комом. Мы сделали пролет длиною в семь или восемь сажен, но когда перевернули его, оказалось, что скосил не туда, куда следовало по чертежам. Угол был тупее, на тридцать, и другой конец пролета убежал в сторону далеко от нужного места. Оповоривши таким образом звание сознательных рабочих, мы принялись

раскапывать. Это была не работа, а пекло, многие бежали, у остальных выветрился порыв, и мало-по-малу мы перешли к намерстыванию поленницы. Крутом почувствовалась распушенность, и скоро потянуло вон из общественных мастерских.

В это время я познакомился и как-то быстро сдружился с Гришей Пинаевским. Он работал в маломорском цехе Ватонных мастерских и входил в боевую дружину районного комитета. Ему было лет двадцать, но он был уже замечательным работником в партии. Из всех моих знакомых партийных товарищей, кажется, только для одного Гриши обстоятельство складывалось довольно благоприятно. Два его старших брата примкнули к революционному движению еще в конце девятых годов. Под их влиянием Гриша стал социалистом раньше, чем поступить на завод, и потом, когда другим приходилось усваивать новые взгляды, перестраивать себя на иной лад, он уже мог подойти сознательно к окружающей действительности. Должно быть, такая необычная подготовка и сделала его ярким революционером-фанатиком. По словам Гриши партия была главной паровой станцией. Она должна передавать движение по всем направлениям. Партийный террор должен был, как паровой молот, крушить самодержавие со всеми его слугами и добровольными прихвостнями. Каждый удар этого молота должен был, подобно громовому раскату, будить общество. Ни одна партийная организация не должна была в это время „мук ловить“, но внедрять своим словом в сознание народа программу партии. Дальше речь касалась нежелательных типографий, прокламаций, библиотек и кружков. Все они действовали как по-писанному, и Демократическая республика водворялась в России еще до созыва второй Государственной думы. К этому нужно прибавить, что Гриша был патристом Невской заставы, проповедывавшим ее всероссийское значение. Этот человек, с монгольским профилем и провалом двух зубов, выбитых казацкой нагайкой на первомайском празднике труда, своей порывистостью и как будто несвязанной речью удивительно тормозила своего

содесертника.

Иванов В. 4-е изд. 1938 г. № 1: К 18-33

своего района. В это время общегородской боевой организацией, по непонятным тогда для нас причинам, никак не могла наладиться. С начала года было сделано до десятка организационных попыток, и все они кончались арестами еще до начала боевых выступлений. Охранка арестовывала бойцов пятами и десятками, а раз захватила даже больше двадцати человек. Эти полицейские погромы совсем не задевали районных боевых дружин. В результате создавалось такое положение, что „Ле-Ка“, как тогда называли Петербургский Комитет, намечая боевые дела, а выполнить их своими силами ему никак не удавалось. И вот нам поручили уничтожить на Выборгской стороне одного полицейского пристава, виновного в избивании женщин, выброшенных с какой-то фабрики. Его фотографию нам переслал наш партийный фотограф Яковлев. Мы осмотрели местность и наметили для действия площадь, где останавливалась паровая конка.

Назначенный день оказался солнечным. Около часа нам пришлось ожидать в Лесном парке. Там, разгладывая длинноногих козлов, бегавших по воде небольшого пруда, меня дернуло за язык похвалить радостное настроение насекомых. Гриша Пинаевский что-то промчал, а третий—его звали „дедом“ за его серьезность и склонность к старческому увещиваниям—начал рассказывать о деревенских лужах, в которых живут „полонички“—лигушеры головастики. Разговор был самый пустой, но он как-то необычайно возбуждал во мне размышления о жизни.

Когда я занял свое место и приготовился, открыв предохранитель и поджав курок, мне только и думалось, как хороша жизнь, и как все радуется ей. О том, что через несколько минут я должен вырваться у врата жизни, мне и в голову не приходило. И вдруг я увидел свою жертву. Полицейский шел прямо на меня. Солнце светило ему в лицо, и он только жмурился. Я рассмотрел его так же хорошо, как и сверкающий воротник на его мундире, и пропустил мимо себя. Пристав был уже шагах в десяти от меня, когда на противоположной стороне

не гранул выстрел. Я спохватился и тоже выстрелил, но пристав уже лежал на тротуаре.

Конечная публичка и уличные торговцы подняли суматоху. Мы благополучно скрылись через Лесной парк. Казалось, все прошло как следует, но через несколько дней меня вызвали в лесок, называвшийся „царским парком“, и там я попал под партийный суд.

Виноват во всем был „дед“ со своими головастиками, но отвечать, почему я не стрелял, зная, что обязан выстрелить, пришлось мне одному. Мой обвинитель уже заговорил о том, что в такого рода делах надо отбросить всякие товарищеские чувства и брать только голый факт, иначе-де среди нас легко найдут себе место и полицейские благожелатели. После его речи мне стало понятно, что со мной шутить не намерены, и я просил отложить суд, пока подтвердится случай доказать, что в Лесном с моей стороны не было ничего преднамеренного. „Дед“ настаивал на полном отводе меня от боевой деятельности, но остался в меньшинстве и в знак протеста сам ушел из боевой организации на общепартийную работу.

Через неделю после суда мне пришлось стрелять в черносотенца, младшего Лаврова, и на этот раз я уже ничего не видел перед собою, кроме врата рабочих и саути цари. Мехкий террор, который мы развернули довольно широко, совпал с новым приливом общественной волны. Рабочая масса снова заколыхалась и довольно благоприятно судила наши дела. Черносотенцы ушли в подполье и служили уже как платные охранники. Несколькими наших дружинников, с согласия районного комитета, работали по обнаружению Юскевича-Красковского, Сашки Поломнева и „Гамзея Гамзеевича“, убивших депутата Государственной думы Герушштейна. Этой работой руководил какой-то присяжный поверенный с целью доставить упомянутых черносотенцев в финляндский суд и там доказать причастность к убийству русского правительства. Дело было интересное, но я стоял от него в стороне и всех подробностей не знал. Последним террористическим предприятием, в кото-

ром я участвовал, прикрывая исполнителя, было убийство подлейместера Шереметова, организатора еврейского погрома в Белостоке (или Седзце?), переведенного в Питер на должность участкового пристава. Организатором этого дела, если не изменяет мне память, был студент Михаила Латкин, но его арестовали за неделю до назначенного срока. Уже после его ареста мы избрали местом террора левую сторону Забалканского проспекта между домами № 6 и 12, рассчитывая на проходные дворы в Горсткину улицу и удобство отступления как на Сенную площадь, так и на Фонтанку.

Стрелял негетерый "Ваня"—рабочий с завода Леснера. Все пять пуль попали в лицо и шею Шереметова, но ни одна из ран не оказалась смертельной. "Ваня" по ошибке заскочил не в проходной двор, а когда выбежал обратно и направился к Садовой улице, навстречу ему показались конные городовые. Они ехали по середине проспекта тихим шагом, и, очевидно, еще не знали, что произошло за минутой до их появления. "Ваня" уже повернул к Фонтанке. В этот момент грянула духовой оркестр какой-то роты солдат, возвращавшейся из караула. "Ваня" заметался и снова бросился во двор, выскочив по пути в старуху, которая попыталась подставить ему под ноги свой костыль. Через мгновение он опять выбежал на Забалканский проспект, но лишь затем, чтобы выстрелить себе в рот. На него набросился дворник с метлою, но мне удалось через проспект подстрелить его. Когда я побежал к "Ване", он был уже мертв.

В этом деле мы не особенно наделись на удачу, так как имели сведения, что Шереметов постоянно окружен надежной охраной. Он должен был усилить ее еще после того, как получил партийный приговор с приложением кинжала. Исходя из таких соображений, было решено стрелять пулями с примесью кали. Иногда яд применяли и раньше, закладывая его в крестообразный надрез лобзиков ободочки пули, но тогда отравления не получалось. На этот раз в пулях были сделаны углубления дредью, и яд прикрыт пленкой коллодия, чтобы он

не выпал при выстреле. Но, вероятно, пули потеряли свою силу и не пробивали скуловой кости. Этот вопрос заинтересовал меня, и я расспрашивал всех причастных к боевой работе с отравленными пулями. Таких боевиков на воле я встретил немного, и все они отвечали то же самое, как и встречающиеся после на каторге, что неудачное попадание нисколько не довершает действия яда. Вопрос об эгической стороне отравления пулей для меня лично возник только на каторге. На воле же мне казалось обязательным лишь уничтожить врага не мытьем, так катаньем. И логика тогда была проста: если я ночью в кармане облатку с ядом и обязан ее проглотить раньше, чем буду схвачен врагом, то почему вперед не застраховаться от его рук?..

Осенью настрояние рабочей массы уже было отливным, и сама масса пережила свою былую однородность. Еще выступления на арену борьбы черносотенцев поставили перед частью рабочих вопрос об оценке деятельности партий. Время только обостряло этот вопрос, и теперь почти на каждой массовке некоторые рабочие обвиняли в недостаточной решительности как социал-демократов, так и социалистов-революционеров. Подобные обвинения особенно стала развертывать молодежь мелких заводов, на которых сплошь и рядом партийные организации были слабы. Их руководители часто оказывались новичками в революционном движении, что, однако, не мешало им проявлять оппозиционное настроение по отношению к выступавшим комитетам. Следом за ними шла молодежь непартийная и еще не участвовавшая в переломе революционном движении, но безусловно настроенная активно-революционно. Она хотела дела сейчас же и в своем порыве принимала средства за цели борьбы. Из общей агитации она только улавливала то положение, что переживаемое время—не время массовых выступлений. А раз так, то, значит, настала пора действовать небольшими группами. И вот, на каждом заводе и в каждой мастерской стали сами собой возникать боевые группы молодых рабочих. Все они начинали свою деятельность с сочинения устава, который должен был заме-

нять партийную программу. Таких уставов мне довелось прочитать несколько. Очень сходные по содержанию, они значительно расходились в словесном выражении и все говорили о том, кто может быть членом группы и как он должен действовать. Дальше в них упоминалось о свержении самодержавия. Но ни в одном из них мне не помнится определения ни существа рабочего класса, ни его задач. Мне попал в руки даже один устав, требовавший присяги и угрожавший карой за измену, но и в нем не было сказано, за какой строй группа будет бороться.

До поры до времени все эти группы ограничивались одними разговорами. Они еще не имели средств на оружие и не знали, где их можно взять. Но вот где-то и кто-то устроил удачную экспроприацию и тем самым сразу показал выход из безденежного положения. Точно по приказу из единого и авторитетного центра, в рабочий район ворвалась волна экспроприаций. Вначале они все были удачны,—очевидно, хозяева денег наделись на полицию, а полиция—на то, что введённые военнополовые суды. Первые успехи окрыляли групповцев. Они привозили из Финляндии десятки браунингов и действовали во-всю. Теперь задачей каждой из них было вооружиться, а там можно взяться и за террор. Но перейти к террору пыталась только одна группа, которая скоро убедилась в его трудности и решила, что будет лучше, если она нужную сумму денег передаст какой-либо партийной организации. Остальные группы ушли на экспроприациях. Почти ни одной из них нельзя отказать в известной доле своеобразного героизма. И рабочая масса оценила это движение по-своему: она хладнокровно выслушивала противобольшевские речи. Некоторые громкими порок, но все видели, что дело не так просто: людей двигала не алчность к личной наживе. В такой обстановке групповое движение экистов росло так, что за Невской заставой, кажется, не осталось ни одного торгового заведения, не подвергавшегося экспроприации, а пивные лавки и ремесленные погреба экспроприовались по несколько раз. Этот боевой активизм подме-

нил собою революционное действие, и потому кадры экспроприаторов меньше всего пополнялись рабочими, прошедшими партийные кружки. Пена мутного прибои хлестала в рабочие низины и оттуда выхватывала даже детей. Так, в селе Александровском, около Обуховского завода, жила семья рабочего Макарова. После смерти отца десятилетний Ванька остался оборвышем. И вот свое бездельное положение желал поправить, этот Ванька подбирает трех или четырех своих сверстников. Они делают себе деревянные браунинги и, выкрасив их черным лаком, тоже отправляются на "экс". Дети-экспроприаторы закатились в большой одежно-обувной магазин и, выбрав себе по ноте пару штблел, скомандовали "руки вверх". И "дело" прошло благополучно. Начав таким образом "карьеру", Ванька в 1910 г. стал уже Иваном Макаровым, а ব্যব্যавок и анархистом. Потом его арестовали за экспроприацию с настоящим оружием. Военно-окружный суд приговорил его, как не имеющего по малолетству прав ни на высылку, ни на каторгу, в тюрьму сроком на 12 лет, которые он и отсидывал в "Крестах", склеивая папиросные коробки.

Волна эковского разгула угрожала социалистическим партиям. В их рядах появились участники эксов. Некоторые проводили эксы даже партийным оружием. Таких стали исключать и силою боевиков обезоруживать. Но даже эти меры не останавливали стихию. Партийная агитация и пропаганда стали почти невозможны. Нужно было держать за полы и осаживать назад в то время, когда люди рвались в бой. Тем не менее групповцы нанесли наиболее серьезный удар партиям. Группы только разбивали на куски цельную, пока бездейственную массу. Они только отвлекали ее внимание от непосредственных задач, стоящих перед рабочим классом. Беда надвигалась на партию с другой стороны. Упадочное настроение просочилось в партийные комитеты, и именно в это время охранка смогла запустить "свою руку" в партийные организации. На первых порах несколькими арестами охранка расстроила налаженную работу. Тут стали выдыхаться партийные попутчики, примкнувшие к

движенно в его цветущую пору. Они уходили, куда глаза глядят, и бросали дело на произвол судьбы. Их предшественники приходилось начинать все сызнова в самую трудную пору всеобщего распада. Да и с преименностями поучалось невадно, так как при нужде в работниках меньше стали заботиться о хорошем подборе людей. И все неизбежные последствия такого положения не замедлили сказаться крайне трагически.

В Невском районном комитете появился организатор „Михаил Иванович“—человек, склонный к окружению и облысенно, называвший себя студентом, но больше напоминавший отставного чиновника. К организационной работе он и не прикоснулся, но сразу взялся перестраивать боевую дружину районного комитета. Загавал ли он что-нибудь на самом деле, я не знаю. Нас, боевиков, этот „Михаил Иванович“ совсем не касался и даже ни одного раза не приглашал на общее собрание. Но прошло недела три, и кто-то из комитетчиков попросил нашего боевика потропить дружину с представлением оправдательных документов на выданные ей деньги около пятисот рублей. Материальными делами дружины ведала у нас комиссия, но она могла расходовать деньги только с согласия общего собрания дружинников, поэтому дело сразу потребовало выяснения, которое и поручили Мельдеру, Куратову, Морозову и Ланскому. „Дед“, бывший в это время членом районного комитета, пригласил наших выбранных на заседание комитета, и они доказали там, что никто из боевиков денег не брал. Организатора приперли к стене и уличили в подлоге. Расследование дела перешло в районный комитет. Для через три после этого на квартиру к Иосифу Мельдеру приехал член „Пе-Ка“, старик с письмом. По его словам, псковская боевая организация просила помощи, и „Пе-Ка“, подбавляя рекомендации человека, заслуживающего доверия, постановил командировать в Псков перечисленных выше четырех товарищей. В тот же вечер у нас состоялось общее собрание дружинников, но нам пришлось только осмотреть письмо с сурочной печатью и согласиться на немедленный отъезд командированных. В ночь

они выехали, а через два дня пришла условная телеграмма, означавшая, что при неизвестной обстановке Мельдер и Куратов убиты, Морозов ранен, а Ланской скрывается. Полиция арестовала сестру Мельдера, Анну, и увезла ее в Псков, где ей предъявили для опознания труп, брошенный за городом в лесочке. Но картина псковского события вполне обрисовывалась еще до освобождения Анны, когда за Невскую заставу возвратились Ланской и Морозов.

Наши боевики доставили письмо по адресу ученика сельскохозяйственной школы, который назначил встречу у кадетского корпуса с тем, чтобы оттуда отправиться на собрание. Четыре псковича, таких же молодых, как и питерские боевики, шли в десятке шагов позади. За городом, когда началась переделка, неожиданные выстрелы свалили Иосифа Мельдера и Антона Куратова. Морозова ударило в шею, и он инстинктивно бросился в кусты. Его пальто, накинутое на плечи, повисло на ветках. В этот момент стрельба снова возобновилась, и Морозов побежал в сторону от свистевших пуль. Рана оказалась сквозной, но не опасной—Морозов перевязал ее разорванной рубашкой и легко добрался до какой-то станции, с которой и возвратился в Питер через Москву. Ланской скрывается в кустах после первых выстрелов и приехал обратно другим путем.

Из этого рассказа установили только, что стреляли псковские боевики. Все растерялись и не знали, что думать. Районные комитетчики не верили. О письме из них никто ничего не знал, пока выданный из города старик не сообщил, что командированные, по докладу районного организатора, признаны виновными в провокации. Самый же приговор исполнить поручили псковской организации по конспиративным соображениям. Этот старик числился в народолюбцах, но был человеком крайне легкомысленным, любившим, чтобы ему оказывали почтение. Он не прочь был и выставиться слишком важной персоной в революции, особенно, если на партийном собрании была женская молодежь. Как легко его опутал „организатор“, так же легко доказали ему комин-

тетники, что никакой провокации не было, что налицо только место за высказанное Мельдером обвинение в шантаже. Старик обещал приехать на другой день вместе с „организатором“, но как в воду канул и даже оборвал связь между районным комитетом и „Пе-Ка“. Вскоре удалось заглянуть в район „Николай Николаевича“ — крестьянского работника, но он был не в курсе дела „Пе-Ка“. По его предложению районный комитет объявил себя распущенным, назначил новые выборы с тем, что вновь избранный комитет расследует дело. Непричастность к этому делу районных комитетчиков была настолько всем очевидна, что их всех снова избрали в комитет. Следственную комиссию избрали в составе трех человек и предложили боевикам прислать в нее своего представителя.

„Пе-Ка“ явно тормозил дело. Он не связывался с районом и не давал явки на Псков, а без нее комиссия напрасно съездила на место происшествий. Между тем Морозов не молчал. Через неделю все партийное население Невской заставы возбудилось до крайней степени. Среди нас многие требовали расстрела старика и клевались не пускать ни одного интеллигента за заставу. Веря на слово какому-то проходившему, решение вопроса о жизни четырех товарищей без простой попытки поверить голые слова возмущали так, что недоумованию не было границ. Мы ездили в город, там ходили по улицам, надеясь встретить старика или организатора, чтобы расстрелять их при всякой обстановке. Но ни тот, ни другой не попался...

В атмосфере вражды к партиям и интеллигенции, накалившей отчасти и рабочую массу, появились максималисты первого пришествия. Среди них наиболее крупным считался „Борода“. Это был подлинный романтик от революции, любивший каждый пустяк показать в обстановке сугубой конспирации. В эти годы среди революционеров никто уже не прибегал ни к переодеваниям, ни к маскам — все это давно отжило и поминилось только в книжках сыщика Пинкертона, а „Борода“ в течение одной беседы успевал сменить пары две очкоз и столько

же фасонов наклеенной бороды. Оратор он был хотя и путанный, но увлекательный, особенно когда речь касалась „конечных революционеров“ — Плеханова, Ленина и Чернова. Вслед за ним явился „Василий Петрович“ — Ривкин — хороший организатор, но плохой парикмахер. Его сразу прозвали „разношерстный“, так как его голова, после собственноручной окраски, покрывалась ключами волос красивых, черных, седых и зеленых. Эта пара организовала максималистские кружки, в которых сперва „Борода“ читал рефераты о трудовой республике, а потом пропагандиста „Ира“ поведа систематические занятия. Эта „Ира“ была рослая девица, довольно веселая и симпатичная. Среди пропагандисток она казалась новым типом. Прежде к нам за Невскую заставу приходили и социал-демократки и социалистки-революционерки, но в них было нечто общее, заметное настолько, что пропагандистку можно было узнать даже в сумерки, когда все кошки кажутся серыми. Подпольная пропаганда как-то скоро обезличивала курсисток и делала их служительницами освобождения народа. У них даже агитаторские склонности как-то скоро затупевывались, и они уже не тисались за большим числом последователей, но вкладывали все свои силы и душу, чтобы дать своим ученикам руководящее начало. При таком подходе к делу из бесед изгонялось все частное, временное или касающееся одного человека. Скроменно, без вычурной фразы, без жестов, бывших на эффект, они манили к идеалу, который удаивал силы, звал на борьбу за лучшее будущее. Это пробуждение было так необычно, что вызвавшие его пропагандистки казались святыми, стоящими на недосягаемой высоте — не даром же они не усаивали нашего балагурства. „Ира“ была не такая. Она знала прямо на дело, отрывала своих слушателей от окружавшей жизни с ее упадочным настроением и заставляла работать массой. Надо было махнуть на все рукой, пока что-нибудь удастся из намеченной цели. Это тоже увлекало, но голове ничего не давало. И сама „Ира“ часами отодвигала свою пропаганду в сторону, чтобы поговорить о душевных переживаниях. По мере уменьшения

мы шли навстречу ей, и тогда она становилась рядом с нами, как простая смертная. Ко мне "Ира" относилась особенно хорошо, и я настолько увлекся ею, что склонился к максимализму и чуть-чуть не сломал на этом деле себе шею.

Максималисты "первого пришествия" были люди идейные и денежные. Они организовали издательство, помещавшееся недалеко от курсов Лесгафта, которым завладевал "Арчик" Ремизов. Он издавал хотя и мало книг, но зато в таком большом количестве, что не только распродавать их, а даже раздавать бесплатно было трудно. Первомайскую листовку "Арчик" выпустил на 16 страницах в формате журнала "Нивы". Вообще максималисты размахнулись довольно широко, ни слов, ни букашек не жалея, но жизнь их была недолговечна. Охранка произвела несколько арестов и сорвала всю головку. "Ира" утонула, но не смогла восстановить организацию. Она решила опереться на неведомых боевиков, перешедших к максималистам, но многие из них еще не жили, "псковской трагедии" и оказались неспособными к делу. По чувству симпатии я обещал "Ире" посодействовать в добыче оружия и сам привлек к этому делу Николая Дмитриева. Нам удалось собрать только пять пистолетов, и когда мы привезли их на курсы Лесгафта, "Ира" встретила нас с распростертыми объятиями. Но генерал оказался, что, кроме оружия, нехватает и трех боевиков на тщательно подготовленное дело. Наши маузеры были с нами, и мы вдвоем согласились заместить трех боевиков.

Это было 20 марта 1907 г. Вскоре в студенческую столовую пришли "боевики Иры"—какие-то вальеры сапоги с монастырского клироса! Но попытка назад было поздно: через несколько часов нужно было действовать с людьми, первый раз увидевшими револьверы, предоставляя экспроприации крупной суммы денег в казарме жандармского генерала на Могилевской улице. Выясняя обстановку, мы пришли к заключению, что наиболее тяжело будет обеспечить отступление, так как около дома имеется постоянная охрана. Эту обязанность мы и взяли на себя.

Когда мы приближались к указанному дому, на улице уже горели газовые фонари. Подозрительных типов было не оказалось. Боевики нырнули в парадный подъезд и во двор. Прошло минут пятнадцать, а потом зазвенели стекла разбитого окна. Выросший передо мною охранник скомандовал "руки вверх". Я повторил его слова и поднял маузер. Мой первый выстрел свалил охранника, поднявшего руки. В этот момент я увидел, как три человека повалили Дмитриева на землю. Немого дуэля, рукояткой револьвера я олушил нападавших и вытаскивал на свет Николая. Но тут-то и заварилось настоящее сражение. Прибывшие на помощь раненому охраннику королевые открыли перестрелку. Отстреливаясь, мы выбрались на Садовую улицу и сели в санки извозчика. Извозчик убежал. Лошадь помчалась. Минут через десять мы подкатили к толпе, которая с криками "они... они" бросилась врассыпную. Мы снова очутились на Могилевской улице у генеральского дома. Надежда на лошадь пропала. Побежали. Перестрелка не прекращалась полчаса, пока нас окружил мрак за Фонтанкой. Наконец мы заскочили во двор, кажется, 4-й роты Нагайловского полка и зарылись там на свалке старого железа под грудой листов. На свет вылезли ночью спустя два дня.

"Вальеры сапоги" исчезли с места происшествия бесшумно и незаметно. "Иру" вскоре арестовали. За время нашей отлучки за Невской заставой совершилось "второе пришествие максималистов". Во главе его стояли светло-серые брюки и такой же пиджак с круглыми полами. Помню еще пыльный бант из какой-то воздушной материи вместо галстука, но ни одной черты лица в памяти не сохранилось. Все это, вместе взятое, называлось "Григорий Саввич". С этих пор максималисты ни издавательской, ни пропагандистской деятельностью не занимались, чем и отличались от "первого пришествия".

"Григорий Саввич" начал с организации боевиков и первым делом назначил освобождение "Иры". В план входило все, начиная с веревочных лестниц, световых сигналов и кончая темной ночью, хотя в Питере уже наступил

пали белые ночи. Боевикам удалось связаться с сидевшей в тюрьме „Ирой“ и передать ей кое-какие вещи и ключ для шифра. Три раза назначались сроки, но каждый раз в самый канун их „Иру“ внезапно перевели в другую тюрьму. В „Литовском замке“ и „Доме предварительного заключения“ дело проваливалось как будто по оплошности „Иры“, но около пересыльной тюрьмы выяснилось, что главный боевик служил охранником и не организует побег, а лишь выбирает подходящий пустыр, на котором можно взять боевиков с полчищем без посторонних жертв. „Григорий Савиич“ перекочевал в Выборгский район. Осенью его арестовали, но освободили на поруки Киевского губернатора, сыном которого он был.

Я отказался от боевой работы, а заодно и от максимализма. Небольшое размышление убедило меня, что идти вперед лучше тише, но с рабочими, чем быстро с разными хлыщами в серых брюках и сбором охранников. Была весна. Хотелось немного уравновеситься, чтобы не летальное положение не слишком дергало. Я уехал как бы на курорт в Гельсингфорс на бетонные работы. Большинство рабочих были финны, какие-то холодные и медлительные. Нас, русских, было десятка два—народ все с бору по сосенке, но в сравнении с финнами люди отнебье. В наш барак почти каждый день приходил для легкой пропаганды и агитации один социал-демократ. Он когда-то убежал из черты оседлости и теперь говорил по-фински так же легко, как и по-русски. Его-то мы и взяли за бок, чтобы он помог нам разогреть финнов хорошим боем с финскими „активистами“, выступавшими среди рабочих-финнов. Их митингов мы не пропустили, хотя и не понимали ни одного слова. Было как-то чудно слушать их речи, о которых среди нас говорили, что „с такими речами не революцию делать, а молоко в Питер возить“. Хотелось посмотреть, что станет с финнами, если они услышат настоящую революционную речь. Наш социал-демократ согласился „отжарить на советь“. Председатель митинга дал первое слово нашему оратору, как потом оказалось, для приветствия от русских рабо-

чих. Наш молодец не ударил лицом в грязь. Говорил он горячо и так убедительно, что и без смысла слов все было понятно: речь на неизвестном языке лихорадила и нас. А финны—хоть бы что! Сосут свои „носорейки“ и ни единого признака оживления у них не заметили. С ответом выступил один финн-рабочий. Он говорил долго, но это была не речь, а нудное бормотание между затяжками дыму из мадленкой трубки-носорейки. И тем не менее финны одобрительно ворковали. По словам нашего социал-демократа, говорил один из лучших ораторов-рабочих, но с нашей точки зрения этого оратора, замораживающего кровь в такие дни, когда и в Финляндии пот выступает, следовало без сожаления выкатить на пачке...

ГЛАВА V

К зиме—конец 1906 г. и начало следующего—прекратилась дальнейший распад рабочего движения за Невской заставой. В эту зиму исчезло только обреченное на гибель. Основная толща рабочих, как будто заставшая в тисках мороза, копила силы к весеннему пробуждению. Началась подготовка к участию во второй Государственной думе. О бойкоте ее среди нас речи не поднималось. Подготовительная кампания открылась предым рядом партийных докладов в Корниловской школе. Рабочих собиралось на эти доклады всегда больше, чем вмещал раздвижной зал. В числе докладчиков по вопросам государственного строя России часто выступал Микотин, а по аграрному—„Норский“. Их речи были немного академичны. Текущая политика, или, по тогдашнему выражению, „злоба дня“, как будто отодвигалась в сторону. Разбором ее больше всего занимался какой-то „Николай“, высокий человек со смуглым лицом, и только раз рабочие сами попросили „Норского“ осветить „текущий момент“. Социал-демократы совсем не выступали.

Время стояло военно-полевое, и тем не менее полиция не решалась запретить доклады, хотя она и знала о них.

Но однажды, в самый разгар речи "Норского", полиция все же направила в Корниловскую школу, и пристав объявил всех собравшихся арестованными. Несколько околоточных надзирателей стали переписывать всех потоловно. Мандармский генерал и охранник, в котором я поспе узнал Статковского, осматривали руки записанных, надеясь таким способом выловить интеллигентно-революционеров, и сортировали кого направо—в глубь классной комнаты, кого налево—к выходу на двор. Отбор танулся медленно. В зале стало душно. Кто-то открыл окно, чтобы выпустить в помещение морозный воздух. Немного погодя нежелательные полезли через окно со второго этажа на задворки Макселевской фабрики. Следом за ними тронулись и рабочие, истомленные скукой ожидания. Мандармы и полицейские заметили этот маневр, когда школа разределась уже так, что в ней осталось не больше тысячи человек. Дом окружили, а затем всю ночь вошли в участок человек по сорок арестованных, окружив их пешими городовыми и конными жандармами. В участке свора полицейских прозерила указанные места прописки, и пристав всех задержанных распустил по домам.

На доклады в Корниловскую школу ходили преимущественно сознательные рабочие и они-то и оживили всю рабочую массу. К началу выборов упомянутых масса заметно оттаяла. Почти каждая мастерская самостоятельно провела одно или два предвыборных собрания. И хотя на этих собраниях не бывало настоящих докладчиков и упорядоченных прений, они все же вполне отражали новое пробуждение рабочих. Говорили и выражали друг другу сами рабочие-массовики. В их речах не было ни полета в заоблачные выси, ни непоколебимой самоуверенности. Был трезвый подсчет своей силы, перечислялись реформы, без которых нельзя дышать рабочему человеку, все это замыкалось в небольшой круг четко формулированных требований, неразрывно связанных с переживаемыми днями. И тем не менее из каждого слова, произнесенного на этих собраниях, явно выступала резкая грань, отмежевывавшая рабочих от правящего

класса, и был ошутим духовный рост рабочих за минувшие два года. Так, например, когда вопрос коснулся письменной просьбы, адресованной рабочим трактирщиком Зубком о снятии с его трактира и дома бойкота, наложенного в предыдущем году, рабочие подошли к разбору дела с точки зрения своей чести и последовательности. Трактирщик Зубок предлагал за удовлетворение своей просьбы 10 000 рублей в пользу безработных или какой-либо рабочей организации. Сумма по тем временам немалая, особенно при наличии массы безработных. И не было бы ничего удивительного, если бы рабочая масса взглянула на эти деньги как на возможность несколько облегчить бедственное положение. Однако они, одобрив отказ Зубка поддерживать черную сотню, бойкота не сняли, так как перешептывание одного вопроса могло привести рабочих к колебанию в других, более серьезных делах. Когда же собрание утвердило ответ Зубку, то один рабочий предложил провозвести денежный сбор в пользу безработных среди рабочих, чтобы их решение не нанесло ущерба своим же товарищам.

И вообще теперь у рабочих было иное отношение к собитиям. Раньше вся оценка делалась с точки зрения вреда, который причинялся полиции или фабрикантам. Теперь меркой становилась польза рабочего класса. И это особенно сказывалось на отношении к боевой деятельности "максималистов второго пришествия", которая очень усилилась в апреле и мае 1907 г.

Во главе боевой дружины максималистов стоял ученик Псковской земледельческой школы Николай Любомудров, руководивший расстрелом наших товарищей в Пскове.

По выступлениям дружины можно было думать, как многие и делали, что Любомудров—огчаинная голова, полная беззаветного героизма. Он больше всего занимался "эксами", но в двух своих террористических делах выступил как защитник рабочих.

1 мая работницы фабрики Чешера устроили на фабричном дворе митинг. Являлась полиция и, разогнав собравшихся, так избива их, что у некоторых женщин случались выкидыши там же на дворе. Избиение возмущило

рабочих всех районов. Любомудров решил ответить на него избиением городских. 7 мая в 9 часов вечера дружинники, рассыпавшись по всей Выборгской стороне, открыли стрельбу по полицейским постам, не исключая и подвезда полицмейстера. Но такое широкое нападение окончилось лишь убийством одного городского и пораниением другого. Оно произвело впечатление на полицейских не столько жертвами, сколько самым фактом стрельбы в прямых участников избиения женщин. Городовые разбежались с постов, а потом целой шайкой потрбовали своей отставки.

В том же месяце Городская управа перевела общественные работы в Гатерной Гавани с поенной расплаты на сделышину. Такой переход не понизил заработка, но ограничил дальнейший рост числа работающих. На этой почве проявилось недовольство даже в Совете безработных, но оно не успело ничем разрешиться благодаря вмешательству в дело Николая Любомудрова.

Раз в неделю комиссия городской управы осматривала общественные работы, которыми заведывали инженеры Берс и Нюберг. "Отцы города" разгуливали по насыпи и разговаривали с безработными. В такой момент два Любомудровских боевика и застрелили упомянутых инженеров. Убийство произошло так неожиданно, что опешаило в одинаковой мере и комиссию и рабочих. Боевики ушли не торопясь. Полиция попыхивалась спустя час и, разумеется, никаких следов виновников не обнаружила.

Дело об этом убийстве инженеров характерно для царской юстиции... Вскоре после убийства в газетах появилась заметка, что в военно-окружном суде назначено к разбору дело двух убийц инженеров. Два дружинника, совершившие убийство, находились на воле, и они послали по открытке в охранное отделение и в военный суд с сообщением, что произойдет судебная ошибка, если осудят людей непричастных. Однако их заявление не помогло: двоих приговорили к смертной казни, которую по ходатайству суда заменили каторжными работами. Но прошло еще месяца два, и военно-окружный суд снова осудил двоих, также не имевших никакого отношения к этому

делу. Были осуждены на этот раз социал-демократы Пальм или Пальминь и Иван Яковлевич Перевазов. Из них Перевазов не имел никакого отношения к революционному движению. Он был хорошим столом-краснодерезом и до осени 1904 г. работал в Академии художеств, выполняя разного рода декоративные столыные задания. В конце 1904 г. он был принят на военную службу, но не захотел воевать с японцами, дезертировал и, оставаясь в Питере, перешел на нелегальное положение. Средства к жизни он добывал биллиардной и карточной игрой и мелкими уголовными проделками. Врашася он все это время в среде мелких ворюшек и прочего такого же уголовного люда. По доносу одного из таких ворюшек, названного Перевазовым за кражу у него гадош, он был арестован и обвинен в причастности к убийству Берса и Нюберга. По внешности ни Перевазов, ни Пальм не походили ни на одного из двух участников этого дела. Но так как Перевазов жил нелегально, имел кличку "Крохобор" и доказать своей непричастности не смог, его присудили вместе с Пальмом, впервые в жизни встреченным им на суде, к смертной казни, которая по ходатайству суда была заменена им бессрочной каторгой. Перевазов, отбывая каторгу во Владимирской тюрьме, не прикнул к политическим, но и с уголовными не слагся полностью, хотя держался ближе с ними до самой революции 1917 г., когда его освободили по настоянию политических как незинно осужденного. Пальм отбывал каторгу в Вологде вместе с максималистом "Хохликом", действительно участником убийства, но осужденным на 8 лет за какую-то экспроприацию.

Эти два события—нападение на городских и убийство инженеров—направленные боевой дружиной максималистов якобы на защиту рабочих, казалось бы, должны были найти сочувственный отклик в рабочей среде. Но ничего подобного не случилось. По поводу покушения на городских приговор рабочих был короток и далеко не в пользу максималистов:—теперь фараонов бьют и грудные младенцы. Надо смотреть глубже... Убийство же инженеров было прямо осуждено, хотя рабочие при этом

и раскололись. Меньшинство одобрило действия с.-д. Войтинского, который вместе с Советом безработных ходил на похороны и возложил на гробы венки от имени рабочих. Большинство, осудив дружину, было против публичного выражения своего отношения, чтобы тем самым не дать козыря в руки властей.

На массовке, обсуждавшей эти события, рабочие говорили, что не всякий благодетель полезен рабочему делу, которое не заключается не в уничтожении мелких сошек, а в последовательной борьбе с самодержавием. Эти речи рабочих были как бы ответом на экзамене после двухлетней революционной школы. Мне они кажутся до сих пор хорошей мерой рабочего самосознания, но, к сожалению, восстановить их по памяти я не могу. Однако и помимо речей тогда было много мелких фактов, бесспорно доказавших, что прежнего рабочего, молчаливого быдла, снимающего шапку и немеющего перед ясной путовицей, уже не существовало. И либо-дорого было встретить на проспекте пролетария с фуражкой на завязке, в замасленной блузе, распянутой на груди, котрый, не обращая внимания на встречный казаний разбег, задорно поет полным голосом:

«Отречемся от воли и пива
И нальжем на клокевный квас...»

Время заседаний второй Государственной думы, когда метально выходили социалистические газеты, было оживленной полосой в политической жизни рабочих. Каждый завод и каждая фабрика вырабатывали свой наказ депутатам, упорно проводя свои требования. Мне вспоминается, как на Семинниковский завод явился депутат Алексинский. Встретили его хорошо, но недурно и отчитали за слабою защиту интересов рабочих и ненужное выпячивание депутатского героизма.

Но вот думу разогнали. Рабочие как будто ждали призыва к выступлению. Кое-где снова были выборы в Совет рабочих депутатов. А потом все как водой смыло... Невская застава была объявлена на чрезвычайном положении. На проспекте и уличных перекрестках

поставили вместо одиночек тройки городских с ружьями. Собрания по фабрикам и заводам воспретили. В перелесках заштыряли казачьи разведки. И скоро началась ликвидация революционного движения.

До этого времени все партийные комитеты существовали полулегально. Для полиции они находились в подполье, но рабочие хорошо знали не только где они собирались, а и кто в них заседал. Полицейский потрог заставил комитетчиков и многих рядовых партийцев перейти на нелегальное положение. Днем на улицах уже перестали мелькать кумачевые рубахи социалистов-революционеров и черно-сатиновые социал-демократов. Люди так же свертывались, как и организации. Еще не завершился партийный разгром, как полицейские улары посыпались сперва на профессиональные союзы, а потом и на кооперативные лавки.

Так полицейское наступление, начавшееся еще до созыва второй Государственной думы, развернулось летом во всю ширь и глубину и стало видимо на каждом шагу. И теперь всё заговорило о том, что песни революционного движения уже совсем спета. Наступали сумерки реакции. Но разговоры о поражении революции поднимались на товарищеских вечеринках и прежде. Вместо заодно-бодрищих песен становилась любимой "Тянутся по небу тучи тяжелые". Крутом создавалась угнетающее настроение, и как будто ему отвечали тяжелые слова.

«Горе проснувшимся в ночь безисходную,
Им не сомкнуть своих глаз».

И тогда уже многие искали выхода своим душевным переживаниям в отказе от борьбы и от жизни. Я помню одно сражение таких больных с людьми здоровыми. Оно произошло неожиданно на вечеринке "у отца сына", как тогда называли квартиру братьев Тихоновых по Муравьевскому переулку. Разговор по обыкновенно вертелся около судеб революции. В похоронных тонах говорила Дуня Баранова, славная и умная девушка, сама выбившаяся из фабричных работниц в недурную партийную пропагандистку. Ее недоразвитая фигурка в черном

платье на манер деревенского сарафана, одетого поверх красной сатиновой косоворотки, еще сохраняла в себе много детского. Но смуглое лицо с большими глазами, обрамленное густыми черными волосами, уже носило следы многих дум. Говорила Дуня приятным певучим голосом, и в ее складной речи всегда чувствовалась задумчивая искренность. И на самом деле она не рисовалась, не прыгала выше своей головы, а только отставала свою мысль, сложившуюся под пение приданных веретен и продуманную с помощью книги. Она не была красивой, но приятно и ярко выделялась своей аккуртною среди фабричных девушек.

— Меня охватывает ужас,—говорила Дуня,—когда я вспоминаю всех погибших в борьбе... Своею смертью они завещали нам добиться победы. А куда мы припали? У нас нет исхода. Мы снова должны слушать проклятую музыку кандалов и задуманные стоны товарищей, которых палачи тащат на виселицы... И виселиц теперь больше! Они засосали солнце. И я думаю, что лучше смерть, лучше самоубийство, чем покорная рабская доля...

Своими словами Дуня назвала такое тупостно-беспроектное состояние, что и мне положение показалось безвыходным. Она умоляла. Не говорили ни слова и другие. Молчание продолжалось долго. Потом стали спрашивать друг друга, кто хочет ответить. Все как-то малость, точно сказать было нечего. Наконец за дело взялся "дед", как его иначе называли, наш наследственный председатель. Он прежде всего заявил, что ответить нужно обязательно и что он считает себя пригодным только на затяжку всяких дыр, когда их не хотят заделывать другие, а затем обратился к Дуне. Такой отповеди я никогда не слышал ни раньше, ни после. Ее я помню и до сих пор, а тогда она произвела на меня прямо-таки чудотворное впечатление: что ни слово, то освежающая росинка, что ни мысль, то воспамятующая искра. А в целом—песня соловья, страстно зовущая к жизни. И слушая ее, как мне хотелось научиться говорить точно так же, чтобы гореть самому и жечь волшебными живительными огнем других.

Начал он свою речь с того, что социалисты распались, как и все окружающие, на три части, что и они не избежали подчинения общим законам. Он доказывал фактами, что все переосудили свои силы, а когда не добились желаемого, увидели, что нехватает пороку, опустили руки и поползли, словно раки, в разные стороны. Партийная интеллигенция тоже распалась. Разочарованные бросились в дебри метафизики и там надеются наполнить свои выветренные души мистической пустотой. Прибавные овцы отошли в сторонку с одной молитвой: "Приминует меня чаша" расплаты. Честное и верное пошло в парские застенки. От этого распада рабочее немого отстало во времени, их огни еще догорают, но пути расхождения уже наметились. Дуня жаждал погребения:

— Мы обещаем ей смерть "Вы жертвою пали", ибо она только жертва революции. Но нам с нею не по дороге. Не к смерти, не к самоубийству мы пойдем, а к победе, навстречу солнцу. Какая бы темная ночь ни опустилась над нами, как бы она нас плотно ни укрыла, мы знаем, как свои пять пальцев, что солнце взойдет... Его восход так же неизбежен, как и наша победа. Наконец, если историческая необходимость заупрямится или замедлит, мы сами заставим солнце взойти, и тогда ему жз будет хуже. Тогда оно волей-неволей должно будет ярче светить, жарче и дольше обливает нас своими лучами. Вот наша дорога! И дело Дуни подумать, куда ей идти... Если ей нехватает веры в великое дело, то лучше обом прошибать гранитную стену, чем самоуничтожаться перед деревянными забором... Через торьмы и виселицы, но вперед! Ни шагу назад, только к солнцу, только в парство света и свободы! Мы требуем не жертвы священной, а борьбы. На пути многие сломают свои кости, над ними только выюги и метели сплуют свои песни, но это нас не остановит. Мы бойцы, и наш исход—борьба, а там—желанная победа и солнечные лучи...

"Дед" говорил больше часа, чего на вечеринках почти никогда не случалось. Но он превзошел самого себя. Никто из товарищей не предполагал, что в этом худом и смирном молодом старике может быть столько юноше-

ского пламени. Его все считали рассудительным и холодным, который не вскипит и в котельной топке. Теперь оказалось, что в нем был и другой человек, нам неизвестный, и только нужно было взять его за жабры покрепче, чтобы он заговорил своим голосом. Своими погребальными мотивами Дуня ударила по его живым струнам, и они зазвучали. Наш „дед“ расшалился, помолодел сам и всех так встряхнул, что, как только кончилась его речь, Дуня первая подскочила к нему, обняла его и, целуя, закружила по комнате, чем больше всего смутила перемуренного старца. Он вырвался из ее объятий и нашел только два слова:

— Дуня... Дуня!

Она наградила его целым ворохом нежных и ласковых слов, призналась, что пережила счастливый час и закончила выражением: „блажен, кто верует, тепло ему на свете!“, а потом добавила, обращаясь ко всем: товарищи, в субботу приходите все ко мне, споем еще раз беднучую песню.

В этот вечер, тянувшийся до рассвета, уже не пели:

«Счастливы кто спит, кому в осень холодную
Грезится ласки весны».

Какой-то задор охватил всех. Хотелось удал, раздолья, которое пьянило бы своей молодостью, и я загнула первый раз на социалистической вечеринке:

«В саду люда-малыня
Под прикрытием росла».

Однако наше бурное веселье оказалось лишь предвестником совсем неожиданного события в нашем кругу.

В субботу, вечером, все собралось у Дуни Барановой, квартировавшей в доме Германа по проспекту. Вечер начался шумно. Декламировали стихи чужого и местного произведения, пели песни, устраивали состязания басов на оперных ариях. Мне пришлось выступать в дуэте со Скачковым, нашим районным тенором. Дуня и ее подруга, комнатная сожительница, Дуня Богданова, следовали душою вечеринки. Они были на этот раз в очень шаловливом настроении. Наконец, ни с того ни с сего,

вдруг все утихло, всех собравшихся шокадом. Его долго варили и так же долго разливали по кружкам, тарелкам и мискам, потом все приступили с шутками „к пойду буржуазной скотинки“. Обе подруги примостились со своими чашками на столке возле зеркала. Остальные, где попало—кому нехватало места, тот уселся со своей миской прямо на полу. Наступило некоторое затишье. В этот момент задрожали оконные стекла от сильного взрыва на улице. Послали разведчиков. Они скоро возвратились и сообщили, что за углом дома по Муравьевскому переулку сын вагонного слесаря Павла Петрова уронил бомбу. Мальчишка с оговоренными ногами унесли в больницу Александровского завода. Несчастье снизило шумное настроение вечеринки, но ненадолго. Хотелось веселиться, и кто-то высказал в оправдание веселья:

«Мало ли гибнет людей,
Гибнет и ночью и днем?
Плакать не надо о нем...»

Дуня Баранова запросила русских песен. Над нею стали тунтить: если с шоколада танет на русские песни, то на что же позовет с них?

— Пожалуй, придется деду плясать комаринскую...

Но Дуня отделилась от шуток и упростила Скачкова спеть для почины его „коронную“:

«Тихо тащится лошада,
По пути бредет,
Гроб рогожю покрытый
На санях она везет».

Песня хороша, и Скачков умел ее петь мастерски, передавая безмолвное страдание и гнетущую нужду. Образ овдовевшего многодетного бедняка вырисовывался в мрачных красках. Скачков вложил всю душу в песню, но пение не удовлетворило Дуню. Она капризно просила хоровой песни, и мы спели „Ты взойди, взойди, солнце красное“, а когда окончили, спросили тоже хором:

— Дальше какую?

Нам не ответила ни одна, ни другая Дуня. Они сидели в затененном углу, и ничего особенного заметно не было.

Хохряков, ходивший у нас „на ролях галантного режиссера“, подскокнул к зеркалу, но, не окончив сзоей издисканной фразы, отскочил прочь, словно мячик. Искандрихица девушка заставила замолчать его словосохотливый язык. Поднесла лампу и осветила подруг: обе они были уже мертвы. Перед Барановой стояла пустая чашка, Богианова половину не допила. Пригласили знакомого врача, и он определил отравление большой дозой сильного яда. Было уже за полночь. Покойник немного прибрал. Кто-то сказал им прощальное слово, простил им нехватку воли к борьбе, а потом по обещанию спел „Всех жертвово пали...“

Когда наступил день, трупы отнесли в покойничью при больнице Александровского завода и там положили их рядом с безногим мальчиком Петрова, который только что умер, не рассказав при допросе полицейскому, что помогал брату „чистить квартиру“ в ожидании обыска и что поскользнулся, переноса бомбы...

Наша невискозаставская молодежь точно ждала какого-нибудь сигнала. Его и дали две Луни, а дальше уж каждый выбирал способ по своему усмотрению. Один вкладывал себе в рот дуло браунинга, другой и-жал на лбу проруби, третий обвязывал горло веревкой, но конец был один и тот же. Он без слов говорил, что гнетущее время опустошило людей, не оставило им ни капли силы, чтобы пережить сумерки и предостойную ночь. И эпидемия самоубийств развивалась тем больше, чем сильнее крепла реакция. А рядом стало нарастать притеснение. Люди безвольные повалили в трактиры и казенки заливать душу горькой водкой. Немало нашлось и узоровивших в судрбу. Из таких мне часто вспоминается боевик-максималист, Никита Петров, поверивший в „хиромантию“. Пройдох-хиромантка угадала, с кем имеет дело, и загадочно изрекла:

— Что же, молодой человек, или сеня кулак или выли в бок.

Это было ясно и без предсказания. И никто не уливася, когда на другой день охранник застрелил Никиту, пытаясь его арестовать. Разгром революции и по-

линейское наступление как бы подменили людей. Косени в воздухе появились никчемные вопросы „о смысле жизни“ и тому подобные. И интересы стали не те: социалдемократов упрекали в том, что они бросили под стол „Капитала“ Маркса и васос зачитываются „Санним“ Арцыбашева. Другие обсаывали половые проблемы и равную магию. Но и это было еще не всё: разговоры о провокации дополнили развивавшееся кругом омерзение. Сегодня сообщают, что Валонский—Клюев—выдает ох-ранке, завтра станвится провокатором какой-нибудь Ванька, за ним Павел... Искани люди живого дела, но не находили его, и вот возникло дурное течение по спасению проститутки. Одиночки кончали женитьбой, но в массе эти попытки ни к чему ни приводили.

А полиция наступала. Ночей нехватало для обысков и арестов—жандармы с арестованными появлялись на улицах среди бела дня. Нелегальных наводилось столько, что и надежных квартир стало недостаточно. Приходилось ночевать на дровяных баржах, в кустах, в копинах сена на луку. На улицах зашнырили добровольцы-сыщики. Я решил, что такую непогоду лучше всего переждать под заводской крышей, и снова пристроился на завод, но проработал только пять дней.

Я крепко спал. Ни стука в двери, ни „малинового звона“ жандармских шпор я не слышал, а когда открыл глаза, увидел склонившееся надо мною лицо в пенсне с холеной эспаньолкой:

— Ваша фамилия?

— Бураков.

— Пожалуйте, встаньте. Нужно пронавести обыск. Жандармская деликатность поразила меня. Я ждал, что арест начнется с бранни и зубодобительства. „Пожалуйте!“ так на меня подействовало, что я с большой готовностью оделся в полминуты. В квартире ничего не нашли, и меня повезли в город, прямо в охранное отделение на Петербургскую сторону.

Небольшая конура в подвале была жарко натоплена. Качежный диванчик стоял возле чулунной печки. Большой весь в патлах стол занимал целый угол. Кругом так

[illegible]

"Песнь неслей", а теперь Пушкин говорит: "я помню чудное мгновенье". Но материя одна: женский пол. Жизнь наружу просится. Читал я Поддєка, но то мелочь.

— Брось молот, — перебивает его слушатель, — давай бильню скрути, больше пользы будет.

— Мне ее и так хватает. Вот читаю и всё знаю и теперь-то уж слезу об амнистии не пишу...

сказать, переполненные всегда случались, когда речь касалась революции. Начинались они спокойно, а там, глядишь, один и вставит:

— Революцию делаем мы, рабочие... Ты со своей революцией

Рабочие, конечно, толкнули, но сами получают направление от трудовой интеллигенции, а следовательно крестьяне. Их инстинкт верно ведет...

— Что ты сказал?.. Инстинкт?.. Это не тот ли са-
мый, который во времена крепостного права заложил
домешки, а теперь вырастали земские начальники?
Дальше поднималась такая перепака, что посторо-

Татьяна понималась такая перепалка, что посто­
вой надзиратель не выдержал и, залуцнув несколько раз "в
очко", кричал, стоя в дверь:

— И еще!.. "Галманы", чего там не поделили. В общих камерах со мной сидели...

В общих камерах среди рядовых каторжан было много славесных забияк и, можно сказать, они жили в свое удовольствие. Было немало природных бунтарей, но им не очень везло. Народу было много и, кажется, такого, который легко было поддуть, но нехватало массы, склонной к действию, и наша тюремная жизнь протекала относительно спокойно. Большинство подучивалось, почитывало, меньшинство устраивало стычки с тюремниками и посылывало в карцерах. Но вот наступила 1912 год. Ни в тюрьме, ни на воле еще ничего возбуждающего надежды не случилось, а между тем прежнее спокойствие как-то улетучилось, развелось точно предутренний туман на дулах. В камерах заговорили, зашумкались, бунтари ожили, попла в родную стихию. В это время в первой камере сидели каторжане самые разнокалберные.

и разношерстные по политической окраске. Там были два анархиста враждующих толков—Купченко и Яценко; два максималиста, два социалиста-революционера, один большевик, один меньшевик и пять уголовных—буган, хохов, арманин, толук и русский. И эта разношерстная камера стала задавать тон всей корпусной жизни. Вся камера как-то оглушалась в своих выступлениях против тюремщиков непоколебимой, деулетремененной и способностью окрасивать всякий пустяк в общественную окраску. Трудность борьбы с тюремщиками их ничуть не смущала, а неудачи только темне сплывали воедино. Но вот на воле пронесся клич протеста против расстрела рабочих на Ленских золотых прииска. Общественное пробуждение ворвалось в тюрьму, взломало крепкие заперты, и жизнь потекла по-иному. Крутом так забурляло, что все стали чего-то ждать, все стали посматривать на одиночки четвертого корпуса, где к этому времени собрался весь цвет Шлиссельбургской каторги.

Лихтенштадт—его даже начальник тюрьмы.

...иногда считал возможным каторжан.

Мадановский — организатор вооруженного восстания са-
пер в Кизеве, человек маленького роста, но опромной
популярности.

Дилибин—социал-демократ, очень боевой.
Бернштейн—Ионов Илья—один из самых

...оудачный за военную ор-
ганизацию.

Заключенных — тюремный бунтарь и раз уже убежав-
ший с каторги.

доктор Петров из Варшавы — прославленный бунтарь. Все это были не люди, а настоящие орлы боевые. Остальные в Офицерской школе были не боевые, а

Помимо них в одиночках сидело больше двух десятков революционеров первой руки. Все они были готовы вступить в бой с тюремщиками и подготовляли к этому ка-торжанскую массу, но время не ждало, и поток хлынул мимо одиночек.

Застрельщиком тюремного выступления оказалась шестая камера, в которой сидело двадцать два человека, в том числе человек восемь военно-дисциплинарных и уголовных каторжан. Среди последних особенно выде-

